

КЛАССИКА В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ



ПАСХАЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ

Классика в иллюстрациях

Коллектив авторов

# **Пасхальные рассказы (сборник)**

«Просвещение»

2013

**авторов К.**

Пасхальные рассказы (сборник) / К. авторов — «Просвещение»,  
2013 — (Классика в иллюстрациях)

Пасха – главный православный праздник не только в религиозном, но и в культурном смысле. Духовная природа этого светлого торжества, тема воскрешения души и нравственного обновления не могла не найти отражения в русской литературе. Многие выдающиеся писатели обращались к теме пасхальных праздников, размышляя о непреходящих духовных ценностях: о добре и милосердии, о страдании и сострадании, о любви и прощении. Перед вами рассказы русских классиков – А. Чехова, Ф. Достоевского, А. Аверченко, А. Куприна и других. Разные по жанру и тональности, эти произведения объединяет вера в добро, в нравственное перерождение человека и в чистоту его души. В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

## Содержание

Аркадий Аверченко	8
Буржуазная пасха	8
Дебютанты	17
Рассказ о колоколе	23
Леонид Андреев	29
Баргамот и Гараська	29
Гостинец	37
Иван Бунин	46
На чужой стороне	46
Николай Гоголь	51
Светлое воскресенье	51
Федор Достоевский	60
Мужик Марей	60
Конец ознакомительного фрагмента.	66

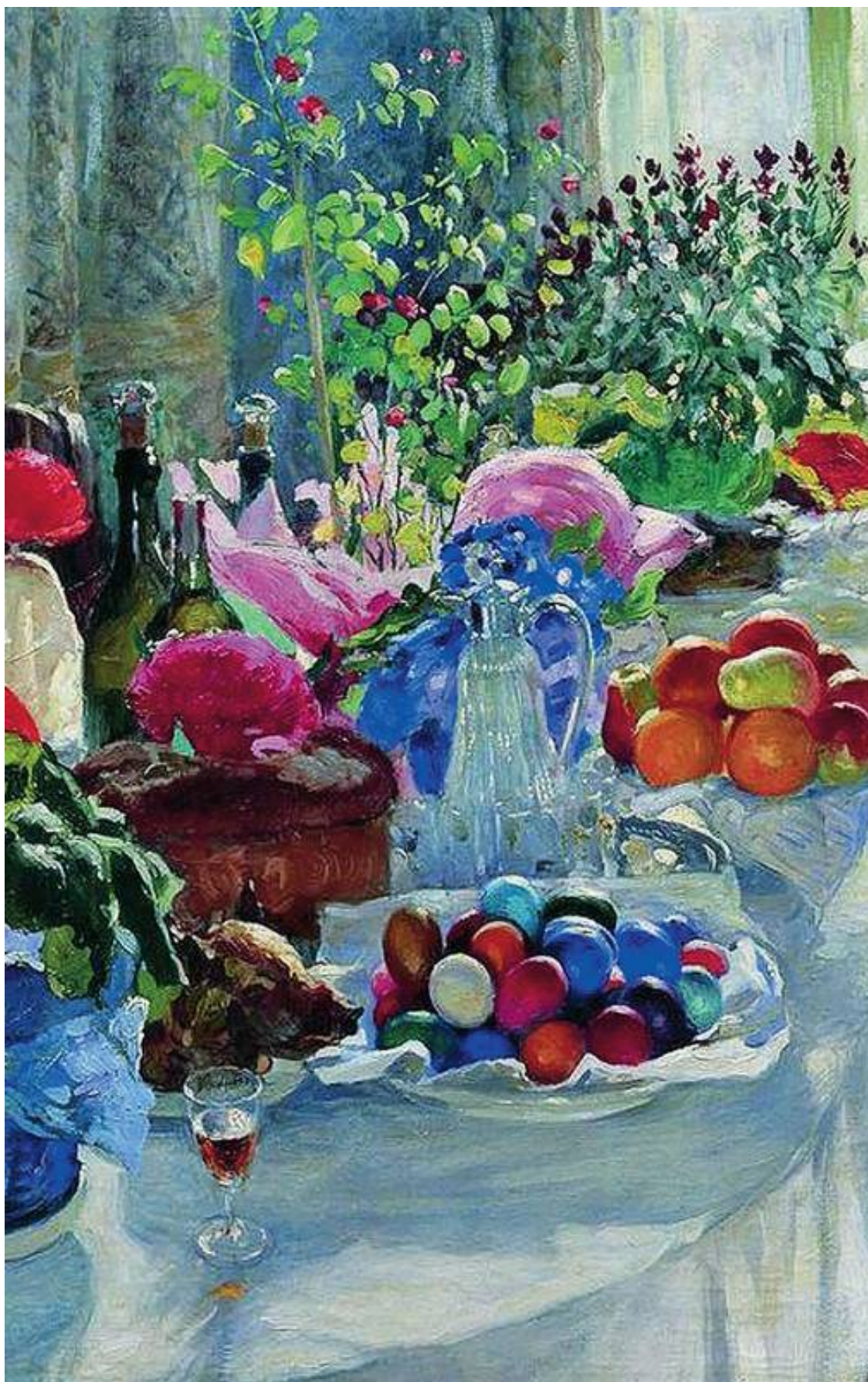
# **Коллектив авторов**

## **Пасхальные рассказы**

© ЗАО «ОЛМА Медиа Групп: издание и оформление, 2013

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*





*Маковский А. В.* Пасхальный стол

## Аркадий Аверченко

### Буржуазная пасха

#### I

Трое бездельников проснулись на своих узких постелях по очереди... Сначала толстый Клинков, на нос которого упал горячий луч солнца, раскрыл рот и чихнул так громко, что гитара на стене загудела в тон и гудела до тех пор, пока спавший под ней Подходцев не раскрыл заспанных глаз.

– Кой черт играет по утрам на гитаре? – спросил он недовольно. Его голос разбудил спавшего на диване третьего бездельника – Громова.

– Что это за разговоры, черт возьми, – закричал он. – Дадите вы мне спать или нет?

– Это Подходцев, – сказал Клинков. – Все время тут разговаривает.

– Да что ему надо?

– Он уверяет, что ты недалекий парень.

– Верно, – пробурчал Громов, – настолько я недалек, что могу запустить в него ботинком.

Так он и поступил.

– А ты и поверил? – вскричал Подходцев, прячась под одеяло. – Это Клинков о тебе такого мнения, а не я.

– Для Клинкова есть другой ботинок, – возразил Громов. – Получай, Клинище!

– А теперь, когда ты уже расшвырял ботинки, я скажу тебе правду: ты не недалекий человек, а просто кретин.

– Нет, это не я кретин, а ты, – сказал Громов, не подкрепляя, однако, своего мнения никакими доказательствами...

– Однако вы тонко изучили друг друга, – хрипло рассмеялся толстяк Климов, который всегда стремился сравнить двух друзей и потом любовался издали на их препирательства. – Оба кретины. У людей знакомые бывают на крестинах, а у нас на крестинах. Хо-хо-хо! Подходцев, если у тебя есть карандаш, запиши этот каламбур. За него в журнале кое-что дадут.

– По тумачу за строчку – самый приличный гонорар. Чего это колокола так раззвонились? Пожар, что ли?

– Грязное невежество: не пожар, а Страстная суббота. Завтра, милые мои, Светлое Христово воскресение. Конечно, вам все равно, потому что души ваши давно запродааны дьяволу, а моей душеньке тоскливо и грустно, ибо я принужден проводить эти светлые дни с отбросами каторги. О, мама, мама! Далеко ты сейчас со своими куличами, крашеными яйцами и жареным барашком. Бедная женщина!

– Действительно, бедная, – вздохнул Подходцев. – Ей не повезло в детях.

– А что, миленькие: хорошая вещь – детство. Помню я, как меня наряжали в голубую рубашечку, бархатные панталоны и вели к Плащанице. Постился, говел... Потом ходили святить куличи. Удивительное чувство, когда священник впервые скажет: «Христос воскрес!»

– Не расстраивай меня, – простонал Громов, – а то я заплачу.

– Разве вы люди? Вы свиньи. Живем мы, как черт знает что, а вам и горюшка мало. В вас нет стремления к лучшей жизни, к чистой, уютной обстановке – нет в вас этого. Когда я жил у мамы, помню – чистые скатерти, серебро на столе.



– Ну если ты там вертелся близко, то на другой день суп и жаркое ели ломбардными квитанциями.

– Врете, я чистый, порядочный юноша. А что, господа, давайте устроим Пасху, как у людей. С куличами, с накрытым столом и со всей вообще празднично-буржуазной, уютной обстановкой.

– У нас из буржуазной обстановки есть всего одна вилка. Много ли в ней уюта?

– Ничего, главное – стол. Покрасим яйца, испечем куличи...

– А ты умеешь?

– По книжке можно. У нас две ножки шкафа подперты толстой поваренной книгой.

– Здорово удумано, – крикнул Подходцев. – В конце концов, что мы, не такие люди, как все, что ли?

– Даже гораздо лучше.

## II

Луч солнца освещал следующую картину: Подходцев и Громов сидели на полу у небольшой кадочки, в которую было насыпано муки чуть не доверху, и ожесточенно спорили.

Сбоку стояла корзина с яйцами, лежал кусок масла, ваниль и какие-то таинственные пакетики.

– Как твоя бедная голова выдерживает такие мозги, – кричал Громов, потрясая поваренной книгой. – Откуда ты взял, что ваниль распустится в воде, когда она – растение.

– Сам ты растение дубовой породы. Ваниль не растение, а препарат.

– Препарат чего?

– Препарат ванили.

– Так... Ваниль – препарат ванили. Подходцев – препарат Подходцева. Голова твоя – препарат телячьей головы...

– Нет, ты не кричи, а объясни мне вот что: почему я должен сначала «взять лучшей крупитчатой муки 3 фунта, развести четырьмя стаканами кипяченого молока», проделать с этими тремя фунтами тысячу разных вещей, а потом, по словам самоучителя, «когда тесто поднимается, добавить еще полтора фунта муки»? Почему не сразу 4,5 фунта?

– Раз сказано, значит, так надо.

– Извини, пожалуйста, если ты так туп, что принимаешь всякую печатную болтовню на веру, то я не таков! Я оставляю за собой право критики.

– Да что ты, кухарка, что ли?

– Я не кухарка, но логически мыслить могу. Затем – что значит, «30 желтков, растертых добела»? Желток есть желток, него в крайнем случае можно растереть дожелта.

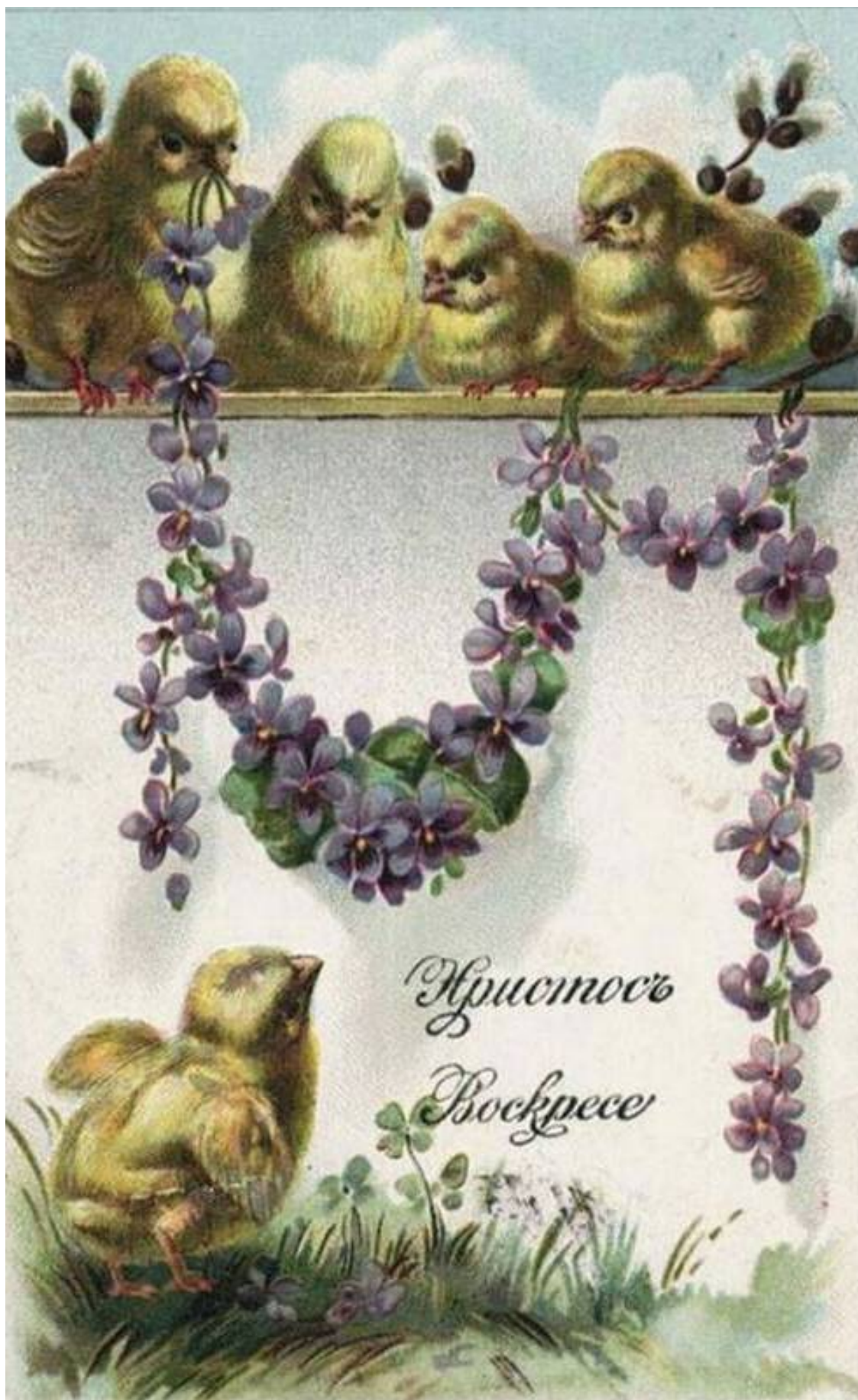
Громов подумал и потом высказал робкое, нерешительное предположение:

– Может, тут ошибка? Не «растертые» добела, а «раскаленные» добела?

– Знаешь, ты, по-моему, выше Юлия Цезаря по своему положению. Того убил Брут, а тебя сам Бог убил. Ты должен отойти куда-нибудь в уголок и там гордиться. Раскаленные желтки! А почему тут сказано о растопленном, но остывшем сливочном масле? Где смысл, где логика? Понимать ли это в том смысле, что оно жидкое, но холодное, или что оно должно затвердеть? Тогда зачем его растапливать? Боже, Боже, как это все странно!

Дверь скрипнула в тот самый момент, когда Громов, раздраженный туманностью поваренной книги, вырвал из нее лист «о куличах» и бросил его в кадочку с мукой.

– На! Теперь это все перемешай!



Здесь и далее книга проиллюстрирована дореволюционными пасхальными открытками.

...Дверь скрипнула, и на пороге появился смущенный Клинков. Не входя в комнату и пытаясь заслонить своей широкой фигурой что-то, прятавшееся сзади него и увенчанное красными перьями, он разочарованно пролепетал:

– Как... вы уже вернулись? А я думал, что вы еще часок проштатаетесь по рынку.

– А что? Да входи... Чего ты боишься?

– Да уж лучше я не войду...

– Да почему же?

За спиной Клинкова раздался смех, и красные перья закачались.

– Вот видишь, – сказал женский голос. – Я тебе говорила – не надо. Такой день нынче, а ты пристал – пойдем да пойдем!.. Ей-богу, бесстыдник.

– Клинков, Клинков, – укоризненно воскликнул Подходцев. – Когда же ты наконец перестанешь распутничать? Сам же затеял это пасхальное торжество – и сам же среди бела дня приводишь жрицу свободной любви...

– Нашли жрицу, – сказала женщина, входя в комнату и осматриваясь. – Со вчерашнего дня жрать было нечего.

– Браво! – закричал Клинков, желая рассеять общее недовольство. – Она тоже каламбурит! Подходцев, запиши – продадим.

– У человека нет ничего святого, – сурово сказал Громов. – Сударыня, нечего делать, присядьте, отдохните, если вы никуда не спешите.

– Господи! Куда же мне спешить, – улыбнулась эта легкомысленная девица. – Куда, спрашивается, спешить, если меня хозяйка вчера совсем из квартиры выставила.

– Весна – сезон выставок, – сострил Клинков, снимая пальто. – Подходцев, запиши. Я разорю этим лучшую редакцию столицы. Ах, как мне жаль, Маруся, что я не могу оказать вам того гостеприимства, на которое вы рассчитывали.

– Уйдите вы, – сердито сказала Маруся, нерешительно присаживаясь на кровать. – Ни на что я не рассчитывала. Отдохну и пойду.

Взгляд ее упал на кадочку с мукой, и она широко раскрыла глаза.

– Ой! Это что вы, господа, делаете?

– Куличи, – серьезно ответил Громов, поднимая измазанное мукой лицо. – Только у нас, знаете ли, не ладится...

– Видишь ли, Маруся, – важно заявил Клинков. – Мы решили отпраздновать праздник Святой Пасхи по-настоящему. Мы – буржуи!

Маруся встала, осмотрела кадочку и сказала чрезвычайно озабоченно:

– Эх вы! Кто ж так куличи делает. Высыпайте обратно муку. Хотите, я вам замешу?

Громов удивился.

– Да разве вы умеете?

– Вот тебе раз! Да как же не уметь!

– Уважаемая достойная Маруся, – обрадовался совершенно измученный загадочностью поварской книги Подходцев. – Вы нас чрезвычайно обяжете...

Увидев такой оборот дела, сконфуженный сначала Клинков принял теперь очень нахальный вид. Заложил руки в карманы и процедил сквозь зубы:

– Теперь вы, господа, понимаете, для чего я ее привел?

– Лучше молчи, пока я тебя не ударил по голове этой лопаткой. По распушенности ты превзошел Гелиогабала!

– Да, пожалуй... – подтвердил самодовольно Клинков. – Во мне сидит римлянин времен упадка.

– Нечего сказать, хорошенькое помещение он себе выбрал. Разведи-ка в этой баночке краску для яиц.

Римлянин времен упадка покорно взял пакетики с краской и отошел в угол, а Подходцев и Громов, предоставив госте все куличные припасы, стали суетиться около стола.

– Накроем пока стол. Скатерть чистая есть?

– Вот есть... Какая-то черная. Только на ней, к сожалению, маленькое белое пятно.

– Милый мой, ты смотришь на эту вещь негативно. Это белая скатерть, но сплошь залитая чернилами, кроме этого белого места. И конечно, залил ее Клинков. Он всюду постарается.

– Да уж, – отозвался из-за угла Клинков, поймавший только последнюю фразу. – Я всегда стараюсь. Я старательный. А вы всегда на меня кричите. Вон Марусю привел. Маруся, поцелуй меня.

– Уйди, уйди, не лезь. Заберите его от меня, или я его вымажу тестом.

Вдруг Подходцев застонал.

– Эх, черррт! Сломался!

– Что?

– Ключ от сардинок. Я попробовал открыть.

– Значит, пропала коробка, – ахнул Громов. – Теперь уж ничего не сделаешь. Помнишь, у нас тоже этак сломался ключ... Мы пробовали открыть ногтями, потом стучали по коробке каблуками, бросали на пол, думая, что она разобьется. Исковеркали – так и пропала коробка...

– И глупо, – отозвался Клинков. – Я тогда же предлагал подложить ее на рельсы, под колесо трамвая. В этих случаях самое верное – трамвай.

– Давайте я открою, – сказала озабоченная Маруся, отрываясь от теста.

– Видите, какая она у меня умница, – вскричал Клинков. – Я знал, что с сардинами что-нибудь случится, и привел ее.

– Отстань! Подходцев, режь колбасу. Знаешь, можно ее этаким звездочкой разложить. Красиво!

– Ножа нет, – сказал Подходцев.

– Можно без ножа, – посоветовал Клинков. – Взять просто откусить кусок и выплюнуть, откусить и выплюнуть. Так и нарежем.

– Ничего другого не остается. Кто же этим займется?

Клинков категорически заявил:

– Конечно, я.

– Почему же ты? – поморщился Подходцев. – Уж лучше я.

– Или я!

– Неужели у вас нет ножа? – удивилась Маруся.

– Был прекрасный нож. Но пришел этот мошенник Харченко и взял его якобы для того, чтобы убить свою любовницу, которая ему изменяла. Любовницы не убил, а просто замошенничал ножик.

– И штопор был; и штопора нет.

– Где же он?

– Неужели ты не знаешь? Клинков погубил штопор; ему после обильных возлияний пришла на улице в голову мысль откупорить земной шар.

– Вот свинья-то. Как же он это сделал?

– Вынул штопор и стал ввинчивать в деревянную тротуарную тумбу. Это, говорит, пробка, и я, говорит, откупорю земной шар.

– Неужели я это сделал? – с сомнением спросил Клинков.



– Конечно. На прошлой неделе. Уж я не говорю о рюмках – все перебиты. И перебил Клинков.



– Все я да я... Впрочем, братцы, обо мне не думайте: я буду пить из чернильницы.

– Нет, чернильница моя, ты можешь взять себе пепельницу. Или сделай из бумаги трубочку.

### III

Маруся с изумлением слушала эти странные разговоры; потом вытерла руки о фартук, сооруженный из наволочки, и, взяв карандаш и бумагу, молча стала писать...

– Каламбур записываешь? – спросил Клинков.

– Я записала тут, что купить надо. Вилки, ножи, штопор, рюмки и тарелки. Покупайте посуду, где брак, – там дешевле... Всего рубля четыре выйдет.

– Дай денег, – обратился Клинков к Подходцеву.

– Что ты, милый? Я последние за муку отдал.

– Ну ты дай.

– Я тоже все истратил. Да ведь у тебя должны быть?

Клинков смущенно приблизил бумагу к глазам и сказал:

– Едва ли по этой записке отпустят.

– Почему?

– Тарелка через «ять» написана. Потом «периц» через «и». Такого перца ни в одной лавке не найдешь.

– Клинков! – сурово сказал Подходцев. – Ты что-то подозрительно завертелся! Куда ты дел деньги, а?

– Никуда. Вот они. Видишь – пять рублей.

– Так за чем же остановка?

– Видите ли, – смутился Клинков. – Я думаю, что эти деньги... я... должен... отдать... Марусе...

– Мне? – искренно удивилась Маруся. – За что?

– Ну... ты понимаешь... по справедливости... я же тебя привел... оторвал от дела...

– И верно! – сухо сказал Подходцев. – Отдай ей.

Маруся вдруг засуетилась, сняла с себя фартук, одернула засученные рукава, схватила шляпу и стала надевать ее дрожащими руками.

– До свиданья... я пойду... я не думала, что вы так... А вы... Скверно! стыдно вам.

– Подходцев дурак и Клинков дурак, – решительно заявил Громов. – Маруся! Мы вас просим остаться. Деньги эти, конечно, пойдут на покупку ножей и прочих тарелок, и я надеюсь, что мы вместе разоведемся: мы с вами куличом, а эти два осла – сеном.

– Ура! – вскричал Клинков. – Дай я тебя поцелую.

– Отстаньте... – улыбнулась сквозь слезы огорченная гостья. – Вы лучше мне покажите, где печь куличи-то.

– О, моя путеводная звезда! Конечно, у хозяйки! У нее такая печь есть, в которой даже нас, трех отроков, можно изжарить. Мэджи! Вашу руку, достойнейшая, я вас провожу к хозяйке.

Когда они вышли, Громов сказал задумчиво:

– В сущности, очень порядочная девушка.

– Да... А Клинков осел.

– Конечно. Это не мешает ему быть ослом. Как ты думаешь, она не нарушит ансамбля, если мы ее попросим освятить в церкви кулич и потом разговестись с нами?

– Почему же... Ведь ты сам же говорил, что она порядочная девушка.

– А Клинков осел. Верно?

– Клинков, конечно, осел. Смотреть на него противно.

А поздно ночью, когда трое бездельников, язва, по обыкновению, друг на друга, валялись одетые в кровати в ожидании свяченого кулича, кулич пришел под бодрый звон колоколов – кулич, увенчанный розаном и несомый разругавшейся Марусей, «вторым розаном», как ее галантно назвал Клинков.

Друзья радостно вскочили и бросились к Марусе. Она степенно похристосовалась с торжественно настроенным Подходцевым и Громовым, а с Клинковым отказалась, – на том основании, что он не умеет целоваться как следует.

– Да, – хвастливо подмигнул распутный Клинков. – Мои поцелуи не для этого случая. Не для Пасхи-с! Хе-хе! Позвольте хоть ручку.

Желание его было исполнено не только Марусей, но и двумя бездельниками, сунувшими ему под нос свои руки.

Этой шуткой торжественность минуты была немного нарушена, но когда уселись за стол и чокнулись вином из настоящих стаканов, заедая настоящим свяченым куличом – снова праздничное настроение воцарилось в комнате, освещенной лучами рассвета.

– Какой шик! – воскликнул Клинков, ощупывая новенькую накрахмаленную скатерть. – У нас совсем как в приличных буржуазных домах.

– Да... настоящая приличная чопорная семья на четыре персоны!

И все четверо серьезно кивнули головами, упустив из виду, что никогда приличная чопорная семья не допустит сидеть за столом безработную проститутку.



## **Дебютанты (Пасхальный рассказ)**

Никто не может отговариваться незнанием закона.

Неприспособленных к жизни людей на свете гораздо больше, чем думают. Это все происходит от того, что жизнь усложнилась: завоевания техники, усложнение быта, совершенствование светского этикета, замысловатость существующих законов – от всего этого можно растеряться человеку, даже не страдающему привычным тупоумием.

Раньше-то хорошо было: хочется тебе есть – подстерег медведя или мамонта, треснул камнем по черепу – и сыт; обидел тебя сосед – подстерег соседа, треснул камнем по черепу – и восстановлен в юридических правах; захотел жениться – схватил суженую за волосы, треснул кулаком по черепу – и в лес! Ни свидетельства на право охоты, ни брачного свидетельства, ни залога в обеспечение иска к соседу – ничего не требовалось.

Вот почему молодые супруги Ландышевы, брошенные в Петербурге поженившимися их провинциальными родителями, смотрели на божий мир с тревогой и смятением щенков, увидевших и услышавших впервые загадочный граммофон.

Все было сложно, непонятно.

Вся процедура венчания была проделана теми же умудренными опытом родителями жениха и невесты; о чем-то хлопотали, предъявляли какие-то странные документы, метрические, где-то расписывались, кому-то платили, кто-то держал образ, кто-то лобызал молодых, и что было к чему – молодожены совсем не понимали.



Еще муж – тот пытался разобраться в сложной путанице русского быта, а жена, прочитав однажды, что она «ничегошеньки ни в чем не понимает», раз и навсегда махнула рукой на всякие попытки осмыслить механику жизни...

Главное затруднение для мужа заключалось в том, что в его мыслях сплелись в один запутанный клубок три различных института: церковь, полиция и медицина. От рождения и до смерти священник, доктор и околотовный царили над жизнью и смертью человека. Но кого в каких случаях и в каких комбинациях надлежало призывать на помощь – бедный Ландышев не знал, хотя уже имел усы и даже служил корреспондентом в цементном обществе...

Смятение супругов увеличилось еще тем, что через сотню дней ожидался ребенок, и судьба этого беспомощного младенца была супругам совершенно неведома. Конечно, нужно пригласить доктора... Ну а священника... пригласить? А в полицию заявлять надо? Кто-то даст какое-то «свидетельство» или «удостоверение», но кто – церковь, медицина или полиция?

И выражение робости и испуга часто появлялось на лицах супругов, когда они за остывшим супом обсуждали эти вопросы.

Ах, если бы с ними были папа и мама!

Те знали бы, что приглашение Ландышевыми полиции при заключении с домохозяином квартирного контракта было совершенно излишне; те отговорили бы супругов от просьбы, обращенной к священнику, выдать «удостоверение» в том, что он служил у Ландышевых молебн... Те всё знали.

Швейцар Саватей Чебурахов постучал в дверь, перешагнув через порог и, держа наотлет сверкающую позументом фуражку, торжественно и веско сказал:

– Имею честь поздравить с праздником присноблаженного Светлого Христова воскресения и пожелаю вам встретить и провести оно в хорошем расположении и приятном сознании душевных дней торжества его!

Ландышевы сидели за столом и ели ветчину с куличом, запивая сладким красным вином. При появлении швейцара страшно сконфузились.

– Спасибо, голубчик! – стараясь быть солидным, пробасил Ландышев. – И тебе того же... Воистину... Сейчас, сейчас... Я только вот тут... распоряжусь...

И он выскочил в другую комнату, оставив подругу своей жизни на произвол судьбы.

Но подруга не терялась в таких случаях; она вылетела вслед за ним и сердито сказала, сморщив губки:

– Ты чего же это меня одну бросил?! Что я с ним там буду делать?

– А что я буду делать? – отпарировал муж.

– Как что? Я уж не знаю... Что в этих случаях полагается: ну похристосоваться с ним, что ли, по русскому обычаю...

– Со швейцаром-то?!

– А я уж не знаю... Я в «Ниве» видела картинку, как древние русские цари с нищими по выходе из церкви христосовались... А тут все-таки не нищий...

– Да постой... Значит, я с ним должен и поздороваться за руку?

– Почему же? Просто поцелуйся.

– Постой... присядем тут, на диванчик... Но ведь это абсурд – целоваться можно, а руки пожать нельзя.

– Кто ж швейцарам руку подает? – возразила рассудительная жена. – А поцеловаться можно – это обычай. Древние государи, я в «Ниве» видела...

– Постой... А что, если я просто дам ему на чай?

– Не обидится ли он? Человек пришел с поздравлением, а ему вдруг деньги суешь. У этих рабочих людей такое болезненное самолюбие.

– Это верно. Но просто похристосоваться и сейчас его выпроводить – как-то неловко... Сухо выйдет. Может быть, предложить ему закусить?

– Пожалуй... Только как поудобнее это сделать: к столу его подвести или просто дать в стоячем положении?

– Э, черт с ними, этими штуками! – воскликнул муж. – Смешно, право: мы тут торгуемся, а он там стоит в самом неловком положении. Неужели я не могу быть почитателем старозаветных обычаев, для которых в такой великий день все равны?.. Несть, как говорится, ни эллина, ни иудея! Пойдем.

Ландышев решительно вышел в комнату, где дожидался швейцар, и протянул ему объятия.

– А-а, дорогой гость. Христос воскрес! Ну-ка, по христианскому обычаю.

Швейцар выронил фуражку, немного попятился, но сейчас же оправился и бросился в протянутые ему объятия.

Троекратно поцеловались.

Чувствуя какое-то умиление, Ландышев застенчиво улыбнулся и сказал гостю:

– Не выпьете ли рюмочку водки? Пожалуйста к столу!

Швейцар Чебурахов сначала держался за столом так, как будто щедрая прачка накрахмалила его с ног до головы. Садясь за стол, с трудом сломал застывшее туловище и, повернувшись на стуле, заговорил бездушным деревянным голосом, который является только в моменты величайшего внутреннего напряжения воли.

Однако радушие супругов согнало с него весь крахмал, и он постепенно обмяк и обвис от усов до конца неуклюжих ног.

Чтобы рассеять его смущение, Ландышев заговорил о тысяче разных вещей: о своей службе, о том, что полиция стала совершенно невозможной, что автомобили вытесняют извозчиков... Темы изложения он избирал с таким расчетом, чтобы дремлющий швейцаров ум мог постичь их без особого напряжения.

– Автомобили гораздо быстрее ездят, – солидно говорил он, пододвигая швейцару графин. – Пожалуйста, еще рюмочку. Вот эту я вам налью, побольше.

– Не много ли будет? Я и так пять штук выпил, а? Да и одному как-то неспособно пить. Хи-хи!

– А вот Катя с вами вином чокнется. Катя, чокнись по русскому обычаю...

– Ну-с... с праздничком. Христос воскрес!

– Воистину!

– Представьте себе, у меня в конторе, где я служу, до полутора миллиона бочек цемента в год идет.

– Поди ж ты! Цемент, он, действительно...

– Теперь, собственно, жизнь вздорожала.

– Да уж... Не извозчик пошел, а галман какой-то... Эфиоп.

– Почему?

– Да разве его от подъезда отгонишь? Ни боже мой. А жильцы протестуются.

– Скажите, вы довольны вообще жильцами?

– Да разные бывают. Вон из третьего номера жилища, которая пишет, что массажистка, – та хорошая. Кто ни придет – молодой ли, старик – меньше полтинника не сунет.

Швейцар налил еще рюмку и, подмигнув, добавил:





– А то какой-нибудь ошалевший с ее человек и трешку пожертвует. Ей-богу!

И он залился довольным хохотом.

– А с четырнадцатого номера музыкантша – прямо будем говорить – гниль. Ни шерсти, ни молока. Шляются ученики – сами такие, что гривенник рады с кого получить. Старая шельма. Никуда. Го-го-го!..

Прикрыв рот рукой, так как им овладела икота, смешанная с веселым смехом, швейцар подумал и сказал:

– А в девятом дамочка с мужем живет – так прямо памятник ей поставить. Как муж за дверь – так, гляди, каваргард на резинах подлетает. И уж он тебе меньше целкового никогда не сунет. Уж извините-с!

Он игриво ударил Ландышева по коленке:

– Понял?

Супруги угрюмо молчали. Такой красивый жест, как приглашение меньшого брата к своему столу, сразу потускнел.

«Меньшой брат» был человек крайне узких, аморальных взглядов на жизнь: всех окружающих он оценивал не со стороны их добродетелей, а исключительно с точки зрения «полтин и трешек», которые косвенно вызывались поведением его фаворитов. Это был, очевидно, человек, который мог ругательски изругать светлый образ леди Годивы, если бы она была его жилищей, и мог бы превозносить до небес содержательницу распутного притона...

О добродетелях вообще, о добродетелях безотносительных, этот грубый человек не имел никакого понятия.

– Жилец тоже жильцу розь. К одному явишься с праздником, он тебе пятишку в лапу, – на, разговляйся! А другой, голодранец, на угощении норовить отъехать... А что мне его угощение! – вскричал неожиданно швейцар, упершись руками в бока и оглядывая критическим взглядом накрытый стол. – Если я на полтинник водки тяпнул да на полтинник закуски, так начхать мне на это! Какой ты после этого жилец! Верно? Я генерала Путляхина уважаю, потому это настоящий барин: «Кто там пришел на кухню?» – «Швейцар с лестницы поздравляет». – «Дать ему зеленую в зубы и пусть убирается ко всем чертям!» Вот это барин!

– Позвольте, – сказал Ландышев, вставая. – Я вам тоже дам на чай...

– От вас? На чай? – презрительно сморщил нос швейцар. – Разве от таких берут? Унизил меня, а потом – на чай? Не-ет, брат, шалишь. Молода, во Саксони не была! Какая вы мне компания, а? Шарлы-барлы, и больше ничего!

Он опустил усталую, отяжелевшую голову на руки.

– Налей еще рюмаху. Эх, хватить, что ли, во здравие родителей!

– Вот вам два рубля, можете идти, швейцар, – сказал Ландышев, пошептавшись перед этим со своей верной подругой.

– Не надо мне ваших денег – верно? Меня господа обидели – верно? За что?!

– Уходите отсюда!

– Сам уходи, трясогузка!

И, облокотившись о стол, швейцар заскрипел зубами с самым хищным видом.

Жена плакала в другой комнате, как ребенок. Муж утешал:

– Ну черт с ним! Напьется совсем и заснет. Проспится, гляди, и уберется.

– А мы-то куда денемся? Тоже, мужа мне Бог послал, нечего сказать... Со швейцаром связался.

– Да ты сама же сказала, что в «Ниве» видела...

– Нет, ты мне скажи, куда нам теперь деваться?!

Муж призадумался.

– Э, да очень просто... Пойдем к Шелюгиным. Посидим часика два-три, а потом справимся по телефону, ушел он или нет? Одевайся, милая!

И, одевшись потихоньку в передней, супруги, расстроенные, крадучись, уехали...

## Рассказ о колоколе

На случай, который я расскажу ниже, могут существовать только две точки зрения: автору можно поверить или не верить.

Автору очень хочется, чтобы ему поверили. Автор думает, что читателя тронет это желание, потому что обыкновенно всякому автору в глубокой степени безразлично – верит ему читатель или нет. Писатель палец о палец не ударит, чтобы заслужить безусловное доверие читателя.

Автор же нижеописанного в отдельном абзаце постарается привести некоторые доказательства тому, что весь рассказ не выдумка, а действительный случай.

Именно – автор дает честное слово.

### Глава I

Однажды, в конце Великого поста, в наш город привезли новый медный колокол и повесили его на самом почетном месте в соборной колокольне.

О колоколе говорили, что он невелик, но звучит так прекрасно, что всякий слышавший умиляется душой и плачет от раскаяния, если совершил что-нибудь скверное.

Впрочем, и неудивительно, что про колокол ходили такие слухи: он был отлит на заводе по предсмертному завещанию и на средства одного маститого верующего беллетриста, весь век писавшего пасхальные и рождественские рассказы, герои которых раскаивались в своих преступлениях при первом звуке праздничных колоколов.

Таким образом, писатель как бы воздвиг памятник своему кормильцу и поильцу – и отблагодарил его.

### Глава II

Едва запели певчие в Великую ночь: «Христос воскрес из мертвых...», как колокол, управляемый опытной рукой пономаря, вздрогнул и залился негромким радостным звоном.

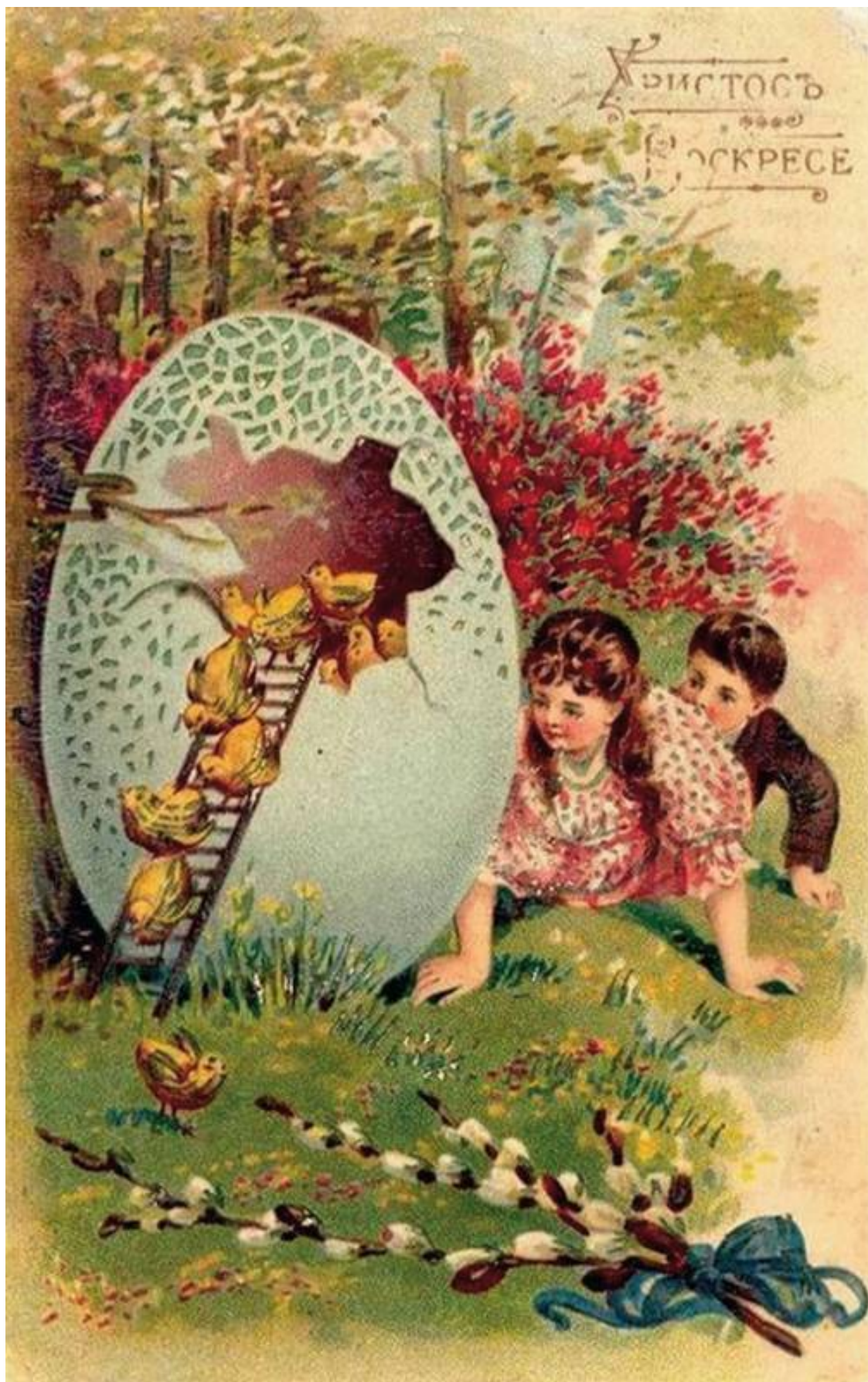
Семейство инспектора страхового общества Холмушина сидело в столовой в ожидании свяченого кулича, потому что погода была дождливая и никто, кроме прислуги, не рискнул пойти в церковь.

Услышав звук колокола, инспектор поднял голову и сказал, обращаясь к жене:

– Да! Забыл совсем тебе сказать: ведь я нахожусь в незаконной связи с гувернанткой наших детей, девицей Верой Кознаковой. Ты уж извини меня, пожалуйста!

Сидевшая тут же гувернантка прислушалась к звону колокола, вспыхнула до корней волос и возразила:





– Хотя это, конечно, и правда, но я должна сознаться, что, в сущности, не люблю вас, потому что вы старый и ваши уши поросли противным мохом. А вступила с вами в близкие отношения благодаря деньгам. Должна сознаться, что мне больше нравится ваш делопроизводитель Облаков, Василий Петрович. О, пощадите меня!

– Могу ли я вас обвинять, – пожал плечами жена Холмушина, – когда мой средний сын Петичка не мужний, а от доктора Верхоносова, с которым я встречалась во время оно в Москве.

– Очевидно, доктор Верхоносов был большой мошенник? – прислушиваясь к звуку колокола и покачивая головой, прошептал Петенька, гимназист четвертого класса.

– Почему?

– Вероятно, я в него удался: можете представить, в третьей четверти у меня поставлены две единицы, а я переправил их на четыре да и показал отцу.

– Дитё! – снисходительно улыбнулась старая нянька. – Сколько я у вас, господа вы мои, сахару перетаскала за все время, так это и пудами не сосчитать. А надысь банку с вареньем выела, а потом разбила да на Анюточку и свалила: будто она разбила.

– Ничего! – махнула рукой маленькая Аня. – За банку мне только два подзатыльника и попало, а того, что я вчера в папином кабинете фарфорового медведя разбила, – никто и не знает.

Инспектор встал, потянулся и сказал:

– Пойти разве в кабинете написать в правление нашего общества заявление, что я третьего дня застраховал безнадежно чахоточного, подсунув вместо него доктору для осмотра здоровяка, кондуктора конки.

– Как же вы пошлете это заявление, – возразила горничная Нюша, – если я вчера из коробки на вашем письменном столе все почтовые марки покрала.

– Жаль, – сказал инспектор. – Ну все равно – поеду к полицейскому, заявлю ему, потому что это дело – уголовное.

### Глава III

Инспектор оделся и вышел на улицу. Колокол звонил... Нищий подошел к нему и укоризненно сказал:

– Вы мне уже третий год даете то две, то три копейки при каждой встрече. Где у вас глаза-то были?

– А что?

– Да я в сто раз, может быть, богаче вас: у меня есть два дома на Московской улице.

Какой-то запыхавшийся человек с размаху налетел на них и торопливо спросил:

– Где тут принимают заявления о побеге с каторги?

– Пойдем вместе, – сказал инспектор. – Мне нужно заявить тоже об уголовном дельце.

– И я с вами, – привязался нищий. – Ведь я один-то дом нажил неправильным путем – обошел сиротку одну. Лет двадцать как это было – да уж теперь заодно заявить, что ли?

Все трое зашагали по оживленной многолюдной улице, по которой сновала одинаково настроенная публика. Кто шел на участок, кто к прокурору, а один спешил даже к любовнице, чтобы признаться ей, что любит жену больше, чем ее.

Все старательно обходили купца, стоявшего на коленях без шапки посреди улицы. Купец вопил:

– Покупатели! Ничего нет настоящего у меня в магазине – все фальшивое! Мыло, масло, табак, икра – даже хлеб! Как это вы терпели до сих пор – удивляюсь.

– Каяться вы все мастера, – возразил шедший мимо покупатель, – а того, что я тебе вчера фальшивую сторублевку подсунул, этого ты небось не знаешь. Эй, господин, не знаете, какой адрес прокурора?



## Глава IV

В участке было шумно и людно.

Пристав и несколько околоточных сортировали посетителей по группам – мошенников отдельно, грабителей отдельно, а мелких жуликов просто отпускали.

– Вы что? Ограбление? Что? Вексель подделали! Так чего же вы лезете? Ступайте домой, и без вас есть много поважнее. Это кто? Убийца? Ты, может, врешь! Свидетели есть? Господа! Ради бога, не все сразу – всем будет место. Сударыня, куда вы лезете с вашим тайным притоном разврата?! Не держите его больше – и конец. Ты кто? Конокрад, говоришь? Паспорт! Вы что? Я сказал вам уже – уходите!

– Господин пристав! Как же так – уходите? А что у меня два года фабрика фальшивых полтинников работает – это, по-вашему, пустяки?

– Ах ты, господи! Сейчас только гравера со сторублевками выгнал, а тут с вашими полтинниками буду возиться.

– Да ведь то бумага, дрянь – вы сами рассудите. А тут металл! Работа по металлу! Уважьте!

– Ступайте, ступайте. Это что? Что это такое в конвертике? Больше не беру. Ни-ни!

Полицмейстер вышел из своего кабинета и крикнул:

– Это еще что за шум! Вы мешаете работать. Я как раз подсчитывал полученные от... Эй, гм! Кто там есть! Ковальченко, Седых! Это, наконец, невозможно! Бегите скорее к собору, возьмите товарищей, остановите звонаря и снимите этот несносный колокол. Да остерегайтесь, чтобы он не звякнул как-нибудь нечаянно.

## Глава V

Колокол сняли...

Он долго лежал у задней стены соборной ограды; дожди его мочили, и от собственной тяжести он уже наполовину ушел в землю. Изредка мальчишки, ученики приходского училища, собирались около него поиграть, тщетно совали внутрь колокола ручонки с целью найти язык – язык давно уже, по распоряжению полицмейстера, был снят и употреблен на гнет для одной из бочек с кислой капустой, которую полицмейстер ежегодно изготавливал хозяйственным способом для надобностей нижних чинов пожарной команды.

Долго бы пришлось колоколу лежать в бездействии, уходя постепенно в мягкую землю, но приехали однажды какие-то люди, взвалили его на ломовика, увезли и продали на завод, выделывавший медные пуговицы для форменных мундиров.

Теперь, если вы увидите чиновничий или полицейский мундир, плотно застегнутый на пуговицы – блестящие серебряные пуговицы, – знайте, что под тонким слоем серебра скрывается медь.



Пуговицы хорошие, никогда сами собою не расстегиваются, а если об одну из них нечаянно звякнет орден на груди, то звук получается такой тихий, что его даже владелец ордена не расслышит.

## Леонид Андреев

### Баргамот и Гараська (Пасхальный рассказ)

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Баргамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари – проломленные головы», давая Ивану Акиндиничу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности Баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительный, для пушкарей же – наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц – он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городских, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и безусловно господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, – Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с неменьшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копать в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существо-

вали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой – вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра Светлое Христово воскресение, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов; хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

– Тьфу! – плюнул Баргамот, сделав сигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до разговления.

Вскоре потянулись в церковь и пушкарки, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубаш, в длинных, с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкарки сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с не особенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут, как неприкаянный.

«Стои тут из-за вас, пьяниц!» – резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул – сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуеться. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!





«Потешный мальчик!» – ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» – подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам своей собственной пьяной особой – его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и поддую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со середины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

– Фонарь. Тпру! – кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с короткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

– Стой, дурашка, куда ты?! – бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. – Вот, вот!.. – Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь – в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке – и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных остроумий, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видал никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, – от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, – было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворачивает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

– Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? – Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

– Куда идешь? – мрачно прогудел Баргамот.

– Наша дорога прямая...

– Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

– Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удалство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок.

– А вот в участке поговоришь! Марш! – Мощная длань Баргамота устремила к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шкуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

– А скажи, господин городской, какой нынче у нас день?

– Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. – До свету нализался.

– А у Михаила-архангела звонили?

– Звонили. Тебе-то что?

– Христос, значит, воскрес?

– Ну воскрес.

– Так позвольте... – Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнику.

Гараська воеет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», – решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

– Что ты, очумел, что ли? – ткнул его ногой Баргамот.





Воет. Баргамот в раздумье.

– Да чего тебя расхватывает?

– Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

– Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты... – бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.

– Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

– Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, – бормотал городской, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. – А я, тово... в участок! Ишь ты!

Тяжело крикнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

– Ну... – смущенно гудел он. – Может, оно не разбилось?

– Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

– А ты чего же?

– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному, а он в... в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его несколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то в самых отдаленных недрах его дюжего тела что-то назойливо сверлило и мучило.

– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

– Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

– Пойдем ко мне разговляться.

– Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

– Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел – и куда же? – не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль – наострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городских, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

– Верно говорите, Иван Акиндин, нельзя нас не бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

– Да нет, не то я говорю... – мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что горючит его суконный язык...



Пришли наконец домой, и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

– Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то... сюрпризец? – спрашивает Марья.

– Не надо, потом... – отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

– Кушайте, кушайте, – потчует Марья, – Герасим... как звать вас по батюшке?

– Андреич.

– Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянной и жалкою миной смотрит на жену.

– Ну чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаивает та беспокойного гостя.

– По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл...

## Гостинец

### I

– Так ты приходи! – в третий раз попросил Сениста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил:

– Приду, приду, ты не бойся. Еще бы не прийти, конечно приду. И снова они замолчали. Сениста лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку; ему хотелось, чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как это сделать без обиды для мальчика, шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить; но говорить было не о чем, и мысли приходили глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так, его все время тянуло называть Сенисту по имени и отчеству – Семеном Ерофеевичем, что было отчаянно нелепо: Сениста был мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей и Сазонкой звался только по привычке. И еще двух недель не прошло с тех пор, как он дал Сенисте последний подзатыльник, и это было очень дурно, но и об этом говорить тоже нельзя.



Сазонка решительно начал сползать со стула, но не доведя дела до половины, так же решительно всполз назад и сказал не то в виде укоризны, не то утешения:

– Такие вот дела. Болит, а?

Сениста утвердительно качнул головой и тихо ответил:

– Ну ступай. А то он бранить будет.

– Это верно, – обрадовался Сазонка предлогу. – Он и то приказывал: ты, говорит, поскорее. Отвезешь – и той же минутой назад. И чтобы водки ни-ни. Вот, черт!

Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Сенисте. К жалости призывала вся необычная обстановка: тесный ряд кроватей с бледными, хмурыми людьми; воздух, до последней частицы испорченный запахом лекарств и испарениями больного человеческого тела; чувство собственной силы и здоровья. И, уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Сенисте и твердо повторил:

– Ты, Семен... Сеня, не бойся. Приду. Как ослобонюсь, так и к тебе. Разве мы не люди? Господи! Тоже и у нас понятие есть. Милый! Веришь мне аль нет?

И с улыбкой на почерневших, запекшихся губах Сениста отвечал:

– Верю.

– Вот! – торжествовал Сазонка.

Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже поговорить о подзатыльнике, случайно данном две недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сенина плеча:

– А ежели тебя по голове кто бил, так разве это со зла? Господи! Голова у тебя очень такая удобная: большая да стриженная.

Сениста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок, волосы его, все в мелких кудряшках, расчесанные частой гребенкой, подымались пышно и веселой шапкой, и серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались.

– Ну, прощай! – сказал он, но не тронулся с места.

Он нарочно сказал «прощай», а не «прощай», потому что так выходило душевнее, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее, такое, после которого Сенисте весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Сениста опять вывел его из затруднения.

– Прощай! – сказал он своим детским тоненьким голоском, за который его дразнили «гуслиями», и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный, протянул ее Сазонке.

И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровенной лапищей, подержал их и со вздохом отпустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков: как будто Сениста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех и всех свободнее, и происходило это оттого, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем.

– Так приходи же, – в четвертый раз попросил Сениста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крыльями.

Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его, очень жаль.

Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще гнался запах лекарств и просящий голос:

– Приходи же!

И, разводя руками, Сазонка отвечал:

– Милый! Да разве мы не люди?

## II

Подходила Пасха, и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье Сазонке удалось напиться, да и то не допьяна. Целые дни, по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, хмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезывало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанными на нем обрезками материй и ножницами горел ослепительным светом, и становилось так жарко, что нужно было, как летом, распахнуть окно. И вместе с волной свежего, крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная, еще слабосильная муха, и приносился разноголосый шум улицы. Внизу у завалинки рылись куры и блаженно кудахтали, нежась в круглых ямках; на противоположной, уже просохшей стороне улицы играли в бабки ребята, и их пестрый, звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучали задором и свежестью. Езды по улице, находившейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шажком проезжал пригородный мужик; телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей.

Когда у Сазонки начинало ломить поясницу и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выскакивал на улицу, гигантскими скачками перелетал лужи и присоединялся к играющим ребятам.

– Ну-ка, дай ударить, – просил он, и десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток голосов просили:

– За меня! Сазонка, за меня!

Сазонка выбирал плиту поувесистее, засучивал рукав и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и, волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в середину длинного кона, и пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам:

– А Сениста-то еще в больнице, ребята.

Но, занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно.

– Надобно ему гостинца отнести. Вот уж отнесу, – продолжал Сазонка.

На слово «гостинец» отозвались многие. Мишка Поросенок поддегивал одной рукой штанишки – другая держала в подоле рубахи бабки – и серьезно советовал:

– Ты ему гривенник дай.

Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке, и выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки глаз и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой, и когда хозяин, Гавриил Иванович, смотрел на них, ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка, и он ожесточенно сплевывал и ругался.





В голове Сазонки было смутно и тяжело, и по целым часам он неуклюже ворочал какую-нибудь одну мысль: о новых сапогах или гармонике. Но чаще всего он думал о Сенисте и о гостинце, который он ему отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивал хозяин – и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки: как он приходит к Сенисте в больницу и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок. Часто в тяжелой дреме он забывал, кто такой Сениста, и не мог вспомнить его лица; но каемчатый платок, который нужно еще купить, представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны. И всем: хозяину, хозяйке, заказчикам и ребятам – Сазонка говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи.

– Уж так нужно, – твердил он. – Причешусь, и той же минутой к нему. На, милый, получай!

Но, говоря это, он видел другую картину: распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине их залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, с которой он не может бороться, и хотелось кричать громко и настойчиво:

«К Сенисте пойду! К Сенисте!»

А голову наполняла серая, колеблющаяся муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость в нем была, а суровый укор и грозное предостережение.

### III

И на первый день Пасхи, и на второй Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день удалось ему выбраться к Сенисте.

Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами кумачовых рубаш и веселым оскалом белых зубов, грызущих подсолнухи; играли вразброд гармоники, стучали чугунные плиты о костяшки, и голосисто орал петух, вызывая на бой соседского петуха. Но Сазонка не глядел по сторонам. Лицо его, с подбитым глазом и рассеченной губой, было мрачно и сосредоточенно, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово, было жаль, что представится он Сенисте не во всей красе – в красной шерстяной рубаше и жилетке, а пропившийся, паскудный, воняющий перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил к больнице, тем легче ему становилось, и глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо Сенисты виделось теперь совсем живо и ясно, с запекшимися губами и просящим взглядом.

– Милый, да разве? Ах, господи! – говорил Сазонка и крупно надбавлял шаг.

Вот и больница – желтое, громадное здание с черными рамами окон, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот и палата и постель Сенисты...

Но где же сам Сениста?

– Вам кого? – спросила вошедшая следом сиделка.

– Мальчик тут один лежал. Семен. Семен Ерофеев. Вот на этом месте, – Сазонка указал пальцем на пустую постель.

– Так нужно допрежде спрашивать, а то ломитесь зря, – грубо сказала сиделка. – И не Семен Ерофеев, а Семен Пустошкин.

– Ерофеев – это по отчеству. Родителя звали Ерофеем, так вот он и выходит Ерофеич, – объяснил Сазонка, медленно и страшно бледнея.

– Помер ваш Ерофеич. А только мы этого не знаем: по отчеству. По-нашему – Семен Пустошкин. Помер, говорю.

– Вот как-с! – благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги. – Когда же-с?

– Вчера после вечера.

– А мне можно?.. – запинаясь, попросил Сазонка.

– Отчего нельзя? – равнодушно ответила сиделка. – Спросите, где мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь! Кволий он был, не жилец.

Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно, ноги твердо несли его в указанном направлении, но глаза ничего не видели. И видеть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они уставились в мертвое тело Сенисты. Тогда же ощутился и страшный холод, стоявший в мертвецкой, и все кругом стало видно: покрытые сырыми пятнами стены, окно, занесенное паутиной; как бы ни светило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осень. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха; падали откуда-то капельки воды; упадет одна – кап! – и долго после того в воздухе носится жалобный, звенящий звук.

Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал:

– Прощевай, Семен Ерофеич.

Затем опустился на колени, коснулся лбом сырого пола и поднялся.

– Прости меня, Семен Ерофеич, – так же раздельно и громко выговорил он, и снова упал на колени и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова.

Муха перестала жужжать, и было тихо, как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки падали в жестяной таз капельки, падали и плакали – тихо, нежно.

#### IV

Тотчас за больницей город кончался и начиналось поле, и Сазонка побрел в поле. Ровное, не нарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось вширь, и самый ветерок казался его свободным и теплым дыханием. Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и напрямик по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там после его прохода оставались следы его ног с темными углублениями каблуков.

На берегу Сазонка улегся в небольшой, покрытой травой ложбинке, где воздух был неподвижен и тепел, как в парнике, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой и красной волной; высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставив следы своего буйства: огромные, ноздреватые льдины. Они кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками подымались вверх навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинул руку – под нее попало что-то твердое, обернутое материей.





Гостинец.

Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнул:

– Господи! Да что же это?

Он совершенно забыл про узелок и испуганными глазами смотрел на него: ему чудилось, что узелок сам, своей волей, пришел сюда и лег рядом, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел – глядел не отрываясь, – и бурная, клокочущая жалость и неистовый гнев подымались в нем. Он глядел на каемчатый платок – и видел, как на первый день, и на второй, и на третий Сениста ждал его и оборачивался к двери, а он не приходил. Умер одинокий, забытый – как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше – и потухающими глазами он увидел бы гостинец, и возрадовался бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу.

Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая руки к небу, жалко оправдывался:

– Господи! Да разве мы не люди?

И прямо рассеченной губой он упал на землю – и затих в порыве немого горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава; густой, успокаивающий запах подымался от сырой земли, и была в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековая мать, земля принимала в свои объятия грешного сына, теплом, любовью и надеждой поила его страдающее сердце.

А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.



## Иван Бунин

### На чужой стороне

На вокзале не было обычной суматохи: наступила святая ночь.

Когда прошел курьерский девятичасовой поезд, все поспешили закончить только самые неотложные дела, чтобы поскорее разойтись по квартирам, вымыться, надеть все чистое и в семье, с облегченным сердцем, дожидаться праздника, отдохнуть хоть ненадолго от беспорядочной жизни.

Полутемная зала третьего класса, всегда переполненная людьми, гулом нестройного говора, тяжелым теплым воздухом, теперь была пуста и прибрана. В отворенные окна и двери веяло свежестью южной ночи. В углу восковые свечи слабо озаряли аналой и золотые иконы, и среди них грустно глядел темный лик Спасителя. Лампада красного стекла тихо покачивалась перед ним, по золотому окладу двигались полосы сумрака и света...

Проезжим мужикам из голодающей губернии некуда было пойти подготовиться к празднику. Они сидели в темноте, на конце длинной платформы.

Они чувствовали себя где-то страшно далеко от родных мест, среди чужих людей, под чужим небом. Первый раз в жизни им пришлось двинуться на «низы», на дальние заработки. Они всего боялись и даже перед носильщиками неловко и торопливо сдергивали свои растрепанные шапки. Уже второй день томились они скукой, ожидая, пока к ним выйдет тщедушная и горделивая фигурка помощника начальника станции (они уже успели прозвать его «кочетком») и строго объявит, когда и какой товарный поезд потянет их на Харцызскую. Со скуки они весь день проспали.

Надвигались тучи. Изредка обдавал теплый благовонный ветер, запах распускающихся тополей. Не смолкая ни на минуту, неся с ближнего болота злорадный хохот лягушек и, как всякий непрерывный звук, не нарушал тишины. Направо едва-едва светил закат; тускло поблескивая, убегали туда рельсы. Налево уже стояла синяя темнота. Огонек диска висел в воздухе одинокой зеленовато-бледной звездочкой. Оттуда, с неизвестных степных мест, шла ночь...

– Ох, должно, не скоро еще! – шепотом сказал один, полулежавший около вокзальных ведер, и протяжно зевнул.

– Служба-то? – отозвался другой. – Должно, не скоро. Теперь не более семи.

– А то и всех восемь наберется, – добавил третий.

Всем было тяжело. Только один не хотел сознаться в этом.

– Ай соскучился? «А-а-а...» – зевнул он, передразнивая первого говорившего. – Гляди, ребята, заревет еще, пожалуй!

– Будя, Кирюх, буровить-то, – серьезно ответил первый и деловым тоном обратился к соседу: – Парменыч, поди глянь на часы, ты письменный.

Парменыч отозвался добрым слабым голосом:

– Не уразумею, малый, по тутошним, все сбиваюсь: целых три стрелки.

– Да ай не все равно? – опять заметил Кирилл насмешливо. – Хушь смотри, хушь не смотри – одна честь...

Долго молчали. Тучи надвинулись, густая темнота теплой ночи мягко обнимала все. Старик открыл трубку, помял пальцем красневший в ней огонь и на время так жарко раскурил ее, что смутно осветил свои седые солдатские усы и ворот зипуна. На мгновение выступили из мрака и белая рубаха лежащего на животе Кирилла, и заскорузлые, изорванные полушубки двух других пожилых мужиков. Потом он закрыл трубку, попыхтел и покосился влево, на сво-

его племянника. Тот дремал. Длинные худые ноги его, завернутые в белые суконные портянки, лежали без движения; по очертаниям худощавого тела было видно, что это совсем еще мальчик, истомленный и до времени вытянувшийся на работе.

– Федор, спишь? – тихо окликнул его старик.

– Н-нет, – ответил тот сиплым голосом.

Старик ласково наклонился к нему и, улыбаясь, шепотом спросил:

– Ай соскучился?

Ответ последовал не сразу:

– Чего ж мне скучать?

– Да ну! Ты скажи, не бойся.

– Я и так не боюсь.

– То-то, мол, не таись...

Федька молчал. Старик поглядел на его худенькие плечи... потом тихонько отвернулся.

Уже и на закате стемнело. Контуры вокзальных крыш едва рисовались на фоне ночного неба. Там, где оно сливалось с темнотою земли, перекрещивались и мигали зеленые, синие и красные огоньки. Осторожно лязгая колесами, прокатился мимо платформы паровоз, осветил ее красным отблеском растопленной печки, около которой, как в темном уголке ада, копошились какие-то черные люди, и все опять потонуло в темноте. Мужики долго прислушивались, как он где-то в стороне сипел горячим паром.

Потом издалека гнусаво запел рожок. Из темноты и из-за разноцветных огней выделился треугольник огненных глаз. Он разгорался и приближался медленно-медленно, а за ним тянулся длинный, бесконечно длинный товарный поезд; подвигаясь все слабее, он остановился и затих. Через минуту что-то завизжало, заскрипело, вагоны дрогнули, подались назад – и замерли. Раздались чьи-то громкие голоса и тоже смолкли. Кто-то невидимый нес фонарь, и светлый круг, колеблясь, двигался по земле, под стеной вагонов.



- Тридцать четыре, – сказал один из мужиков.
- Кого? Вагонов-то? Боле будя.
- А может, и боле...

Федька облокотился на руку и долго глядел на темную массу паровоза, смутно освещенную посередине, слушал, как что-то клочкотало и замирало в нем, как потом он отделился от поезда и, облегченно и тяжело дохнув несколько раз, ушел в темноту, отрывистыми свистками требуя пути... Ничто, ничто не напоминало тут праздника!

– Я думал, они хушь в праздник-то не ходят, – сказал Федька.

– Ну да, не ходят! Им нельзя не ходить...

И слышались несмелые предположения, что, может быть, с этим-то поездом их и отправят. Тяжело в такую ночь сидеть в темноте товарных вагонов, да уж все одно, лучше бы отправили!

Старик заговорил о Харцызской. Но впереди была полная неизвестность: и где эта Харцызская, и когда они приедут туда, и какая будет работа, да и будет ли еще? Вот если бы земляков встретить, которые направили бы на хорошее место! А то, пожалуй, опять придется сидеть где-нибудь в томительном ожидании, запивать сухой хлеб теплой водой из вокзальной кадки. И тоска, тревога снова овладела всеми. Даже Кирилл заворочался, беспокойно зачесался, сел и опустил голову...

– И чего тут остались? – слышался один неуверенный голос. – Хушь бы в город пошли – авось всего версты четыре...

– А ну как сейчас велят садиться? – угрюмо ответил Кирилл. – Его пропустишь, а там и сиди опять десять ден.

– Надо пойтить спросить...

– Спросить? У кого?

– Да у начальника...

– И правда, пожалуй...

– Да его теперь небось нету...

– Ну кто-нибудь за него...

– Служба-то и тут такая же будет, – проговорил Кирилл по-прежнему угрюмо.

– Не такая же, короткая, сказывали, будет... И разговеться тоже нечем...

– А как совсем пойдешь Христа ради?

И все с тоской поглядели на вокзальные постройки, где светились окна, где в каждой семье шли приготовления к празднику.

– Дни-то, дни-то какие! – со вздохом, слабым душевным голосом сказал старик. – А мы, как татаре какие, и в церкви ни разу не были!

– Ты бы теперь уж на клиросе читал, дедушка...

Но старик не слышал этих мягко и грустно сказанных слов. Он сидел и бормотал в раздумье:

«Предходят сему лица ангельстии, со всяким началом и властью... лице закрывающе и вопиюще песнь аллилуйя...»

И, помолчав, прибавил увереннее, глядя в одну точку перед собою:

«Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследииши во всех языцех...»

Все упорно молчали.

Все думали об одном, всех соединяла одна грусть, одни воспоминания. Вот наступает вечер, наступает сдержанная суматоха последних приготовлений в церкви. На дворах запрягают лошадей, ходят мужики в новых сапогах и еще распоясанных рубахах, с мокрыми расчесанными волосами; полунаряженные девки и бабы то и дело перебегают от изб к пунькам, в избах завязывают в платки куличи и пасхи... Потом деревня остается пустою и тихою... Над темной чертой горизонта, на фоне заката, видны силуэты идущих и едущих на село... На селе, около церкви, поскрипывают в темноте подъезжающие телеги; церковь освещается... В церкви уже идет чтение, уже теснота и легкая толкотня, пахнет восковыми свечами, новыми полушуб-

ками и свежими ситцами... А на паперти и на могилах, с другой стороны церкви, темнеют кучки народа, слышатся голоса...

Вдруг где-то далеко ударили в колокол. Мужики зашевелились, разом поднялись и, крестясь, с обнаженными головами, до земли поклонились на восток.

– Федор! Вставай! – взволнованно пробормотал старик.

Мальчик вскочил и закрестился быстро и нервно. Засуетились и прочие, торопливо накидывая на плечи котомки.

В окнах вокзала уже трепетали огни восковых свечей. Золотые иконы сливались с золотым блеском. Зала третьего класса наполнялась служащими, рабочими. Мужики стали на платформе, у дверей, не смея войти в них.

Поспешно прошел молодой священник с причтом и стал облачаться в светлые ризы, шуршащие глаzetом; он что-то говорил и зорко вглядывался в полусумрак наполнявшейся народом залы. Зажигаемые свечи осторожно потрескивали, ветерок колебал их огни. А издалека, под темным ночным небом, лился густой звон.

«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси...» – торопясь, начал священник звонким тенором.

И как только он сказал это, вся толпа заволновалась, задвигалась, крестясь и кланяясь, и сразу стало светлее в зале, на всех лицах засиял теплый отблеск восковых свечей, загоревшихся во всех руках.

Одни мужики стояли в темноте. Они опустили на колени и торопливо крестились, то надолго припадая лбами к порогу, то жадно и скорбно смотря в глубину освещенной залы, на огни и иконы, подняв свои худые лица с пепельными губами, свои голодные глаза...

– Воскресни, Боже, суди земли!



## **Николай Гоголь**

### **Светлое воскресенье**

**(Из сб-ка «Выбранные места из переписки с друзьями»)**

В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого воскресенья. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней – те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах, – он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не повседневная. Ему вдруг представится – эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается у нас, – и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга наместо радостных встреч, если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о воскресении Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадает на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе, и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас все есть – и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивление всем».



Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека как на лучшую свою драгоценность – так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильнее! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильнее земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы – в своей истинной семье, у него самого в доме. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвести; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее – и дома и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно восприимчиво отметить этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движеньям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если в самом деле придется ему обнять в этот день своего брата, как брата, – он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше других требующий сострадания к себе, – он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятие всему человечеству даст человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того чтобы призвать его к себе в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!

Нет, не восприимчиво отметить нынешнему веку светлого праздника так, как ему следует восприимчиво отметить. Есть страшное препятствие, есть непреодолимое препятствие, имя ему – гордость. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее – гордость чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучше других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданиям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого воскресенья. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я

не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пушу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми – неужели мне обнять такого человека, как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди – братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянув на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде – в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презрение! Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обоняние его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку восприимчиво праздник небесной любви?





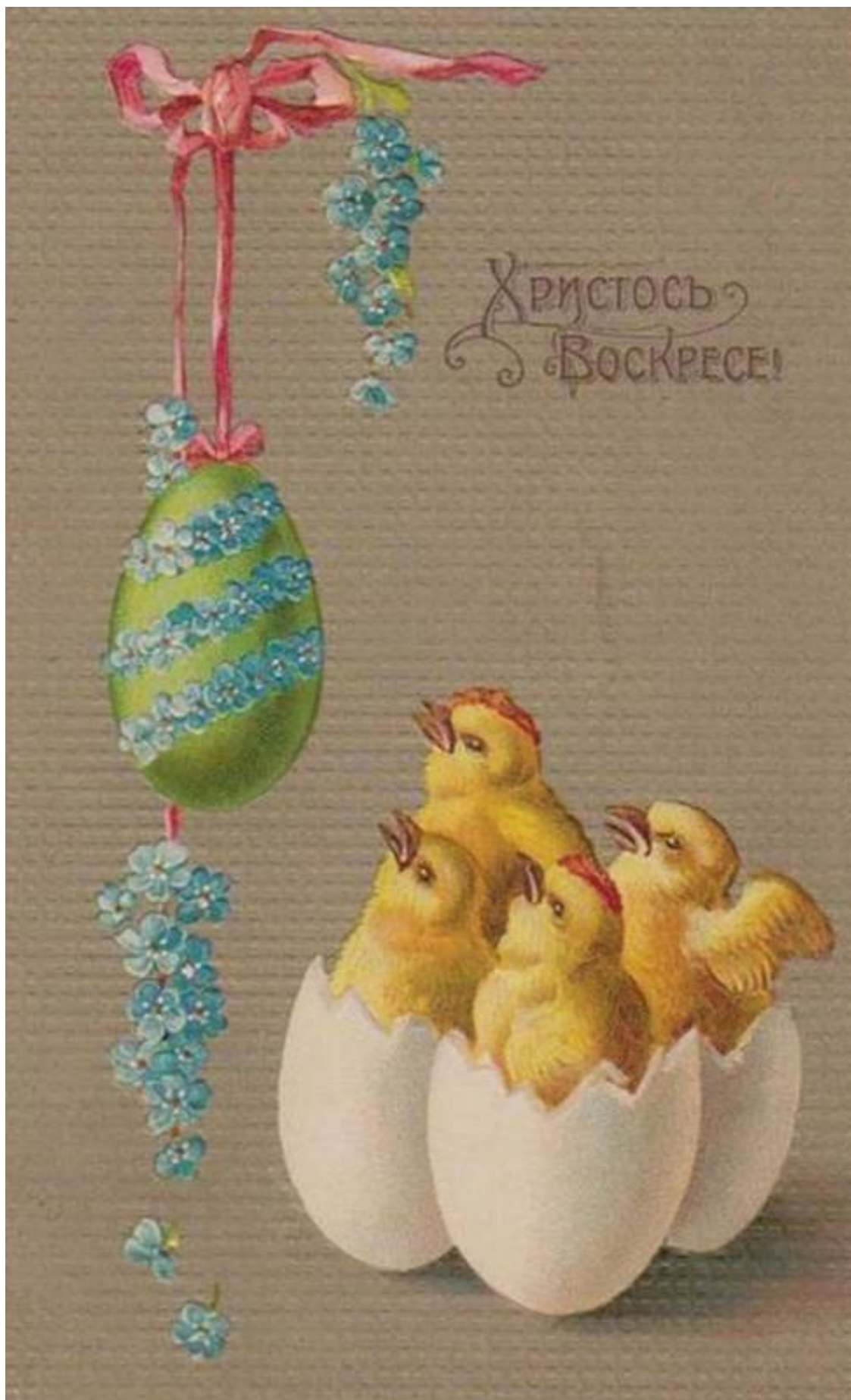


Есть другой вид гордости, еще сильнее первого, – гордость ума. Никогда еще не возрасла она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет название плута, подлеца; какое хочешь дай ему название, он снесет его – и только не снесет название дурака. Над всем он позволит посмеяться – и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него – святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстояние и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движения и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смирения не может к нему прикоснуться из-за гордыни его ума. Во всем он усомнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усомнится, но не усомнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей – нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противоречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие – и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир – дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердца людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке – уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.

И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспризнать этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выражение прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, – и мир это видит и не смеет послушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главного и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, – посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а божиим помазанники остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходя-

щая снизу нечистая сила, – и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святыне обычаи церкви, небесный хозяин которой не имеет над нами власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество – то младенчество, от которого небесное лобзание, как бы лобзание вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это и к чему это? Будто неизвестно зачем? Будто не видно к чему? Зачем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу на небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях вечного века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желание уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней.

Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в твоём мире!



Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос воскрес!» – и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее – и праздник Светлого воскресенья воспризднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердца наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» – вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа – доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой его слово, что есть уже начало братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреодолимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресенья Христова воспризднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспризднуется Святое воскресенье Христово!»

## Федор Достоевский

### Мужик Марей

Но все эти professions de foi<sup>1</sup>, я думаю, очень скучно читать, а поэтому расскажу один анекдот, впрочем, даже и не анекдот; так, одно лишь далекое воспоминание, которое мне почему-то очень хочется рассказать именно здесь и теперь, в заключение нашего трактата о народе. Мне было тогда всего лишь девять лет от роду... но нет, лучше я начну с того, когда мне было двадцать девять лет от роду.

Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, «теплое», яркое, но в душе моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрел, отсчитывая их, на пали крепкого острожного тына, но и считать мне их не хотелось, хотя было в привычку. Другой уже день по острогу «шел праздник»; каторжных на работу не выводили, пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах. Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особое буйство, собственным судом товарищей и прикрытых на нарах тулупами, пока оживут и очнутся; несколько раз уже обнажавшиеся ножи – все это в два дня праздника до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно. В эти дни даже начальство в острог не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять, раз в год, даже и этим отверженцам и что иначе было бы хуже. Наконец в сердце моем загорелась злоба. Мне встретился поляк М-цкий, из политических; он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись: «Je hais ces brigands!»<sup>2</sup> – проскрежетал он мне вполголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму, несмотря на то что четверть часа тому выбежал из нее как полоумный, когда шесть человек здоровых мужиков бросились, все разом, на пьяного татарина Газина усмирять его и стали его бить; били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями; но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. Теперь, воротясь, я заметил в конце казармы, на нарах в углу, бесчувственного уже Газина почти без признаков жизни; он лежал, прикрытый тулупом, и его все обходили молча: хоть и твердо надеялись, что завтра к утру очнется, «но с таких побоев, не ровен час, пожалуй, что и помрет человек». Я пробрался на свое место, против окна с железной решеткой, и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать: к спящему не пристанут, а меж тем можно мечтать и думать. Но мне не мечталось; сердце билось беспокойно, а в ушах звучали слова М-цкого: «Je hais ces brigands!» Впрочем, что же описывать впечатления; мне и теперь иногда снится это время по ночам, и у меня нет снов мучительнее. Может быть, заметят и то, что до сегодня я почти ни разу не заговаривал печатно о моей жизни в каторге; «Записки же из Мертвого дома» написал пятнадцать лет назад от лица вымышленного, от преступника, будто бы убившего свою жену. Кстати прибавлю как подробность, что с тех пор про меня очень многие думают и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей.

---

<sup>1</sup> Исповедания веры (франц.)

<sup>2</sup> «Ненавижу этих разбойников!» (франц.)





Мало-помалу я и впрямь забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои четыре года каторги я вспоминал беспрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастало в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и, главное, поправлял его, поправлял беспрерывно, в этом состояла вся забава моя. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду, – мгновенье, казалось бы, мною совершенно забытое; но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошел за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в Лоск – так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой роши. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору и лошадь идет трудно, и до меня изредка долетает его окрик: «Ну-ну!» Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и все равно, я весь погружен в мое дело, я тоже занят: я выламываю себе ореховый хлыст, чтоб стегать им лягушек; хлысты из орешника так красивы и так непрочны, куда против березовых. Занимают меня тоже букашки и жучки, я их собираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных, красно-желтых ящериц, с черными пятнышками, но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадаются гораздо реже ящериц. Грибов тут мало; за грибами надо идти в березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пахущего мужика.

Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мареем – мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.

– Волк бежит! – прокричали, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти мне поверив.

– Где волк?

– Закричал... Кто-то кричал сейчас: «Волк бежит»... – пролепетал я.

– Что ты, что ты, какой волк, померещилось, вишь! Какому тут волку быть! – бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

– Ишь ведь испужался, ай-ай! – качал он головой. – Полно, родной. Ишь малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

– Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. – Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, выпачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

– Ишь ведь, ай, – улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой, – господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!

Я понял наконец, что волка нет и что мне крик: «Волк бежит» – померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. (Потом, с детством, эти галлюцинации прошли.)

– Ну я пойду, – сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

– Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! – прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь. – Ну, Христос с тобой, ну ступай, – и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошел, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей, пока я шел, все стоял с своей кобыленкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался, но шел я, все еще очень побаиваясь волка, пока не поднялся на косогор оврага, до первой риги; тут испуг соскочил совсем, и вдруг откуда ни возьмись бросилась ко мне наша дворовая собака Волчок. С Волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Марее; лица его я уже не мог разглядеть ясно, но почувствовал, что он все точно так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобыленку.

– Ну-ну! – послышался опять отдаленный окрик его, и кобыленка потянула опять свою соху.

Все это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительной точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах и, помню, еще застал на лице моем тихую улыбку воспоминания. С минуту еще я продолжал припоминать.

Я тогда, придя домой от Марей, никому не рассказал о моем «приключении». Да и какое это было приключение? Да и об Марее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни об чем, и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: «Ишь ведь, испугался, малец!» И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлую любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его барчонок; никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то. Любил он, что ли, так уж очень маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственной нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. Скажите, не это ли разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего?





И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную силую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил я в тот же вечер еще раз и М-цкого. Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Мареях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме «Je hais ces brigands!» Нет, эти поляки вынесли тогда более нашего!



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.